

ЛАУРЕАТ РУССКОГО БУКЕРА

АЛЕКСАНДРА
НИКОЛАЕНКО

УБИТЬ
БОБРЫКМАНДА
ИСТОРИЯ
ОДНОГО
УБИЙСТВА

Александра Николаенко

Убить Бобрыкина.
История одного убийства

«РИПОЛ Классик»

2018

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6

Николаенко А. В.

Убить Бобрыкина. История одного убийства / А. В. Николаенко —
«РИПОЛ Классик», 2018

ISBN 978-5-386-10555-6

Роман «Убить Бобрыкина. История одного убийства», принесший своему автору Александре Николаенко премию "Русский Букер", был принят читающей аудиторией противоречиво. Рассказ о не вполне здоровом главном герое Саше Шишине с его кровожадной *idée fixe* одни сравнивают с русской классикой, другие называют экспериментальным, некоторые считают бессодержательным, а кто-то рассматривает как метафизическое высказывание. Одни хвалят, а другие – неистово ругают роман за «литературоцентричность». Спорят даже, о любви ли он или о смерти. Но все сходятся на том, что «Убить Бобрыкина» – это роман сильный и показательный для современного литературного процесса в России.

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6

ISBN 978-5-386-10555-6

© Николаенко А. В., 2018
© РИПОЛ Классик, 2018

Содержание

Часть 1	6
Глава 1	7
Глава 2	11
Глава 3	15
Глава 4	17
Глава 5	19
Глава 6	23
Глава 7	25
Глава 8	27
Глава 9	30
Глава 10	33
Конец ознакомительного фрагмента.	35

Александра Николаенко
Убить Бобрыкина
История одного убийства

© Николаенко А. В., текст, художественное оформление, 2018

© Издание, оформление. ООО Группа Компаний «РИПОЛ классик», 2018

* * *

Часть 1

– Слушай, Элька, – пробормотал Сундуков, поддаваясь очарованию заповедной улочки. – Неужели мы когда-то были детьми?

– Меня другое волнует, – ответил, подумав, Флягин. – Неужели я когда-то стал взрослым?

Николай Якушев.

Люди на корточках

Я мялку внимаю

И начинаю мять.

Кого не понимаю —

Не надо понимать.

А то если подумаешь

И что-нибудь поймёшь,

Не только мялку вытащишь,

А схватишься за нож!

Олег Григорьев

Глава 1

Веревка

«Удавлюсь!» – подумал Шишин и за веревкой в хозяйственный пошел.

– Куда собрался? – спросила мать.

– За веревкой, – ответил Шишин.

– А-а... – сказала мать. – И мыла заодно купи. У нас все мыло кончилось, – добавила она.

– Земляничного? – поинтересовался Шишин.

– Земляничного, какого? – кивнула мать.

– А если земляничного не будет, дегтярного купить? – И Шишин посмотрел на мать довольный, радуясь, что вспомнил слово, которое все время забывал. «Дегтя-я-рное...», – подумал он.

– Дегтярным веревку себе намыль и удавись, – сказала мать.

«Ладно, земляничного куплю. Им от Танюши пахнет...» И снял с крючка собачью шапку.

– Только денег дай мне, у меня нет их.

– У тебя их нет, а я печатаю! До смерти жилы будешь из меня тянуть, – бубнила мать, но денег Шишину дала.

«Жадная...» – подумал он и за веревкой в хозяйственный пошел.

«Мыло заодно куплю, а на всю сдачу куплю веревку и повешусь», – думал и вдоль забора неохотно плелся к переходу.

Магазин «Хозяйственный» через дорогу был, как все хозяйственные магазины. «Все хозяйственные магазины через дорогу. Почему?» – подумал вдруг, переходя дорогу. И испугался посредине, что светофор переключится, все поедут и его раздавит насмерть. От страха опустил глаза и шел сутулясь, боязливо косясь на сонные дорожные столбы. Он светофоров не любил, и турникетов тоже. В метро особенно опасно возле турникетов – того гляди возьмут и треснут. «Схлопнут – и пиши пропало», – и турникеты проходил зажмурясь, удара ожидая, оглянувшись, думал с облегчением: «Что, собака, съел?!» И если рядом не было людей, то дулю турникету показывал или язык. Но люди обыкновенно были.

«Повсюду люди, – с раздражением думал он. – Битьем людьми набито, как в аптеке», – и редко удавалось турникету показать язык и дулю. Шишин не любил, когда повсюду люди, и людям тоже Шишину хотелось показать язык и дулю, но мать не разрешала баловаться и была Шишина ребром ладони по дуле или языку.

«Злая мать моя, – подумал, живым пройдя дорогу, и светофору показал язык. Пока не видит мать. И люди. Не люблю людей».

День был тихий, белый. Снежным облаком лежало на крышах небо.

«Как в больнице», – и снег мочил ему лицо, и ветер безжалостно трепал за капюшон. А под ногами шляпало и жижей воротило за шнурки.

«Жалко все же, что меня машиной не задавило насмерть, – размышлял, шагая дальше. – Не надо было бы теперь в хозяйственный спускаться, веревку покупать. Там лестница у них такая скользкая, что можно шею запросто себе свернуть, ни разу чем-нибудь специальным не посыплют – сидят и ждут, пока я шею у них себе сверну». И Шишин, держась за поручень обеими руками, осторожно стал в магазин хозяйственный спускаться.

Еще не нравился ему у магазина козырек со снежным горбом. «Не убирают снега, паразиты, – думал он, опасливо косясь на козырек, – за что им только деньги платят?..» Шишин не любил еще, когда сосульки высоко висят, под самой крышей. Особенно в капель. Того гляди – опля! – и всё. Любил, когда сосульки низко, под какой-нибудь витриной, бородой висят, чтоб можно их сбивать и обрывать руками. Шишин с детства любил сбивать и обрывать сосульки,

сосать, пока не видит мать, или в кармане принести домой – и в морозилку. И посмотреть, что будет. Мать не любила, если морозилка сосульками набита, и выкидывала их.

«Злая мать моя», – и он обернулся боязливо (всегда казалось Шишину, что может мать следить, как он, в хозяйственный спускаясь, оглядывался, опасаясь, не следит ли мать за ним), дверь потянул, шагнул в тепло. Тепло дышало ацетоном, краской, порошками, дихлофосом...

«Клеенкой свежей пахнет», – он вдохнул. Любил, когда клеенкой свежей пахнет, как на праздник пирогами, и праздники любил, чтоб гости, когда придут с тортами и в пальто, дарили шоколадки. И он, задумавшись о многом, бродил меж полок в поисках веревки. На полках были круглые тазы оранжевого цвета, ежики для унитазов, кастрюли, крышки, шланги, лейки, лаки в черных липких баках, кружки, чашки... Скипидар.

«Скипидар...» – прочтя, подумал он, он так любил, прочтя, подумать, что прочел...

Он медленно дошел до края ряда, уткнувшись взглядом в обойные ряды, и вдоль рядов обойных раздраженно зашагал обратно, думая о том, что много слишком делают обоев, стенок мало. На все обои ни за что не хватит стенок. И, не найдя веревки, к кассе подошел.

– Веревки есть у вас? – спросил у кассы Шишин.

– Какие вам?

– Обычные, какие?

– Обычных нет, – сказали из-за кассы.

«Обычных нет у них веревок, как не спросишь. Все с вывертом какие-то веревки, с подковыркой. И смотрят вечно из-за кассы, как на дурака». – И Шишин хмуро, пристально смотрел поверх прилавка, на черную чугунную сковороду.

– Крепежные есть. Бельевые. Австралийские, из шерсти ламы. Синтетика. Канат. Какую вам?

– Не надо мне канатов. Мыло есть?

– Вам земляничное? – спросили из-за кассы.

– Земляничное, какое? – ответил Шишин.

Шишин только земляничное любил. Из-за Танюши. Земляничным мылом от Танюши пахнет – вспомнили, о Танюше вспомнив, угрюмо посмотрел вперед. Потом назад. Он так всегда смотрел назад после того, как посмотрел вперед: на мать, на кошек, на ворон, на то, как роют ямы возле дома, на школу и забор. На все. И Шишин снова посмотрел вперед, поверх, на черную чугунную сковороду.

– Есть только «Ландыш», детское... Дегтярное еще... – сказали из-за кассы.

– Дегтярного не надо, – вздрогнув, буркнул Шишин. – А когда завоз?

«А если земляничного не будет, – учила мать, – не вздумай „Ландыш“ покупать, его из кошек варят. Из кошек, понял? Понял у меня?» «Да понял, понял». – «Спроси у них, когда завоз, когда завоз, тогда пойдешь и купишь. Слышишь у меня?»

«Да, слышу, не глухой», – подумал он и ждал, когда ответят из-за кассы, когда у них завоз.

– Не будет никаких завозов. Аренда кончилась, распродаемся, – сказали из-за кассы, – дегтярное берите, «Ландыш», по закупочной цене. Канат. Берите, может, больше и совсем не будет. Кризис!

«Мать тоже „кризис“ вечно говорит», – припомнил Шишин, с неприязнью разглядывая ту, которая за кассой.

Красивая, почти что как Танюша. «Но все же не она», – подумал он и к выходу ни с чем пошел.

На улице за вечерело тускло, серо, гадко. Как назло, встретился под самым козырьком опасным Шишину красивый Бобрыкин ненавистный, в лоснящейся бобровой шапке, белозубый, чернобровый, в широком шарфе, небрежно брошенном за спину, с румяными щеками,

носом от морозца алым. И ветер, как обычно, дул, плевался Шишину в лицо, Бобрыкина придерживая дружески за спину.

– Здорово, Шишкин лес! Брателло! – сказал Бобрыкин ненавистный, ухмыляясь. – Ты не в курсе, у них веревки есть обыкновенные? – добавил он.

И Шишин посмотрел назад, потом вперед. «Гораздо лучше, если знаешь, что будет впереди – без неожиданностей чтобы», – думал он и, убедившись, что впереди стоит Бобрыкин ненавистный, второй раз посмотрел спокойно, зная, что неожиданностей впереди уже не ждать.

– Тебе зачем? – поинтересовался он.

– Нужно... – отмахнулся Бобрыкин ненавистный.

«Меня, наверное, повесить хочет, сволочь», – тихо думал Шишин, угрюмо глядя снизу вверх Бобрыкину в лицо. Бобрыкин улыбался. «Мразь...» – подумал Шишин, уже совсем тихонько. Он всегда старался думать тихо-тихо, если лицом к лицу оказывался с тем, о ком подумал он.

– Нет обыкновенных, – сказал злорадно, ожидая, как огорчится у Бобрыкина лицо.

– Посмотрим... – пообещал зловеще ненавистный, и было видно по его суровому, красивому лицу, что если веревок нет обыкновенных, то он повесит Шишина и на канате, или на шарфе повесит, или задушит голыми руками, без всего.

– Чего смотреть-то? Нет обыкновенных у них веревок, да и всё. Как ни смотри...

– Посмотрим, – твердо повторил Бобрыкин ненавистный, отстраняя Шишина от входа, и спускаться стал.

«Иди-иди... Посмотрим!» – думал Шишин, показывая следом ненавистному Бобрыкину язык и дулю, пока не видит мать.

Сам Шишин некрасивый был, маленький, в болотной куртке старой, перьем свалявшимся набитой, в дрянь колючей, влажной и худой. Бобрыкин был в хорошем пальто демисезонном, верблюжьей шерсти, скроенном футляром, с норковым окладом, и сразу после школы на Танюше был женат.

«Бобрыкин ненавистный, ненавистный! – думал Шишин. – На моей Танюше!» – думал он, желая взглядом козырьку упасть Бобрыкину на спину. Но козырек не падал, ветер выл, плюясь на Шишина, и был с Бобрыкиным, как раньше, заодно.

«Погодка... – думал Шишин, – тьфу, какая!», от ветра отворачиваясь, морщась, но не уходил. Ему хотелось видеть, как Бобрыкин ненавистный тоже без веревки выйдет, «без веревки, без веревки выйдет, сволочь, гадина такая, гадина такая, как и я...»

И все не уходил, стараясь, впрочем, от козырька опасного на расстоянии держаться. В ногах поземкою вертелось. Был февраль, и из заносов снежных вдоль домов торчали голые опилки елок новогодних, и трепыхались, запутанные в ветках, шарики и ниточки серебряных дождей.

И вышел наконец Бобрыкин ненавистный из хозяйственного магазина, по лестнице поднялся, беззаботный, не пугаясь оскользнуться, не держась перил, насвистывая... и с веревкой... с обыкновенной самой... не синтетической и не из австралийской ламы, не бельевой и не крепежной, а такой, которых нет и не было нигде...

Ветер дунул, плюнул, завыл, приподнял с козырька подушку снежную, рассеял в небе. Шишин зло, угрюмо на высокого, красивого Бобрыкина смотрел замерзшими глазами, слезясь и шурясь, на Бобрыкина, женатого на Тане, похожего в пальто на Ланового, с веревкой новой, в черных кожаных перчатках с норковой опушкой, в сверкающих начищенных ботинках, и... ненавидел, ненавидел, ненавидел...

– Что? – спросил Бобрыкин.

Шишин промолчал. От ненависти у него сводило зубы.

– Что? – повторил Бобрыкин ненавистный, снова Шишин промолчал.

– Ладно, Шишкин, я пошел... бывай! – сказал Бобрыкин и пошел, пошел... красивый, безнаказанный, веревку новую, обыкновенную в карман пальто засунув.

«Душить меня пошел», – с тоской подумал Шишин, в спину Бобрыкину толкаясь взглядом, и, развернувшись, отбежал назад, нырнул за угол и параллельно двинулся, кустами, с обратной стороны домов. У арки Шишин выскочил внезапно и, не успев Бобрыкин ненавистный удивиться, что снова Шишин ему попался на дороге, бросился, рыча, ему под ноги и в щиколотку впился и повис, скрипя зубами. Но был Бобрыкин Шишина сильнее, схватил его за шкуру, поднял над поземкой, отшвырнул назад. Куда подальше. Отшвырнул – и Шишин отлетел, свистя, упал, ударившись, но больно не было ему, в губах скворчала пена. Головой мотая, поднялся Шишин и, набычившись, едва переставляя ноги, снова на Бобрыкина пошел.

Но не дался Бобрыкин Шишину и в этот раз, а лишь небрежно, легко опять приподнял и потряс...

И выпали из Шишина от тряски ключи и мелочь, стеклышко зеленое, дверная ручка, соль, сахар, спички, фольги кусок и пара марок, билет счастливый, если бы не лишний правый ноль, который можно оторвать, да и съесть спокойно, гайки, длинный гнутый гвоздь, который молотком еще исправить можно, куриное перо, отвертка, ножик перочинный, скрепка, кнопки разноцветные три, три не надписанных конверта, желудь и мандариновые корки, которыми карманы Шишина от моли набивала мать.

«Иначе все сожрет, не будет куртки», – вспомнил он.

– Все, Шилохвость, сейчас узнаешь у меня... – пообещал Бобрыкин ненавистный и, Шишина не выпуская из перчатки, понес от светофора к арке.

«Душить несет...» – подумал Шишин и мертвый, Бобрыкиным задушенный, но все-таки живой, проснулся вдруг в своей постели и, сжавшись в запятую, тихо заснул...

Глава 2

Камера

Было страшно Шишину, что сон такой ему приснился страшный, что задушил его Бобрыкин ненавистный, как собаку последнюю, веревкой, и только рассвело, он к матери пошел узнать, не вещи ли сны с субботы на воскресенье снятся.

Мать была в постели, читала книгу.

«Евангелие читает», – подумал Шишин хмуро. Шишин не любил, когда Евангелие читала мать.

Светила лампа. Босые ноги Шишину лизал сквозняк. «Это форточка у матери всегда открыта», – переступая в сквозняке ногами, думал Шишин и ждал, что мать ответит, не вещей ли ему приснился сон.

– Нет, не вещей, – сказала мать, но все же встала и, в стопочку налив святой воды, велела выпить залпом: – Пей, от греха подальше, – сказала мать, и Шишин выпил залпом мутную густую воду, морщась от холодного и металлического вкуса.

Остатками со дна мать окропила волосы ему, и сверху три раза лоб перекрестила.

Шишин не любил, когда его кропят и крестят, и, встряхиваясь по-собачьи, втягивая пальцы в рукава, пошел скорей умыться, и долго мылил язычком обмылка лоб и шею, и волосы сушил, как будто их помыли, феном.

Был православный праздник Сретенья господня, мясопустная неделя, и на завтрак мать Шишину дала тарелку перловой каши, без молока и без изюма, и бутерброда с сыром даже не дала. Он попросил тогда у матери сварить ему сосиску, но и сосисок было Шишину нельзя на мясопустной.

В доме было тихо, скучно, тикали часы, журчал бачок. На кухне в облупленном и ржавом тазе яблоки пылились, и мандариновая корка сохла на полу. Шишин задумчиво ходил по коридору, выглядывая из трельяжа, и, выглянув, показывал кривую рожу, делал страшно пальцы и, сделав страшно пальцы, быстро отходил.

– Докорчишься, чумной! Язык сломаешь, – сказала мать, по коридору проходя, и, сделав страшно пальцы матери в ссутуленную спину, Шишин снова посмотрел в трельяж.

«Врет, думал он, язык так не сломаешь!» И, высунув язык, до носа кончиком достал проверить, нельзя ли будет так сломать его. И вздрогнул.

– Вот напугают сзади – и останешься таким! – пообещала, обернувшись, мать. – И так – такой, а будет хоть давись.

И в комнату ушла. На дверь закрылась.

«Не останусь...» – подумал он, от трельяжа отойдя, издали смотрел с опаской, убедиться, что снова мать грозила на воду зазря...

Мать за стеной Евангелие читала, ниже этажом Танюша с дочкой Оленькой жила. «Бобрыкин ненавистный тоже с ними», – думал он, и, думая, садился на колени, и, отгибая коврик, ухо к полу прислонял, чтобы услышать, как живут они, но ничего не слышал. «Надо все-таки Бобрыкина убить...» – подумал он и вышел в общий коридор, чтоб взять стремянку. Но стремянка грохотала, гремела, и на грохот вышла мать.

Мать была седая, длинная, как палка, сердитая, в халате сером, беззубая. Из тапок торчали дырки пальцев с нестриженными желтыми ногтями.

– Чего полз-то? – неприветливо спросила мать и зло смотрела снизу, как Шишин на антресолях копошится.

– Ищу веревку, – буркнул он.

– Тьфу! – сказала мать.

- Бобрыкина повешу.
- Тьфу! – еще раз повторила мать и снова в комнату ушла.

«Бес вверх плюет, а ангел книзу», – подумал он и, вытянув веревку с антресолей, слез, убрал стремянку и в комнату свою пошел, на ключ закрылся, положил веревку на кровать, сел сверху, дальше думать стал. «Не будет Бобрыкин ненавистный стоять и ждать, пока я задушю его веревкой, – думал Шишин дальше, – он меня сильнее. Вырвет веревку и надает по шее, как в прошлый раз...» Шишин уже не в первый раз пытался задушить Бобрыкина веревкой, но все не выходило: то Бобрыкин ненавистный не оказывался дома, если Шишин заходил душить его, то дома были Оленька с Танюшей, а при них душить Бобрыкина неловко становилось, а то вдруг, разглядев в руках у Шишина веревку, Бобрыкин отбирал ее, и приходилось Шишину идти за новой, в хозяйственный через дорогу, или в другой хозяйственный, что тоже, как назло, через дорогу был.

Иногда, увидев нетерпеливо переступавшего под дверью Шишина с веревкой, Бобрыкин злился и мог крепко оттрепать за уши или брал нос Шишина в щепотку и больно крутил его, пока у Шишина в глазах не солонело.

Однажды Шишин вцепился в новую веревку и не хотел отдать Бобрыкину ее, и тот за это с лестницы спустил его, пообещав, что в следующий раз задушит Шишина и без веревки, голыми руками. «Мешок со сменкой, сволочь, на лампу в раздевалке вешал, – думал Шишин, – знал, что не достану, а буду прыгать, всех просить, чтоб сняли, а никто не снимет, а будут только гоготать, руками тыкать... Не люблю, когда руками и гогочут», – думал он.

«Ищите дурака другого гоготать и тыкать», – думал. Он любил, чтобы другого дурака искали тыкать, гоготать. Другого, не его. «В собачку еще мешком моим играли на переменке, в футбол в спортивном зале, – думал Шишин, сидя на веревке сверху, и делался мрачнее. – Танюша видела, как все мешком играли, моим мешком играли, не смеялась, одна из них из всех, из них из всех одна. А я смеялся, чтобы думали, что я смеюсь», – подумал он.

«От Танюши земляничным мылом пахнет...» – вспомнил Шишин и в ванную хотел пойти, понюхать мыло, но вовремя сообразил, что мать, пока он в ванной будет нюхать мыло, может в комнату зайти. «Найдет веревку и отнимет», – подумал Шишин и мыло нюхать в ванную не пошел.

В третьем классе повесил Шишина Бобрыкин ненавистный на ветке клена. «За ногу повесил, гад, за ногу! Вниз головой повесил», – вспомнил он и, приподнявшись, достал из-под себя веревку, улыбаясь сумрачно и странно, на колени положил и гладил как живую. Как кошку гладят. «Хорошая веревка, – думал он. – Вот если бы наоборот, наоборот! – веревку на коленях собирая в петлю, думал он, – наоборот! Я был Бобрыкин, а Бобрыкин – я, то как бы задушил его тогда веревкой этой, как бы я его повесил!» – думал он и, встав, с веревкой вместе подошел к окну.

День зимний короткий, до Масленой недели сумерки в окно приходят рано, и, если включен свет, в окне двойится отраженье. Шишин свет включил и в отраженье Бобрыкиным себя вообразил, веревку на плечи накиннул и, затянув на шее петлю, показал Бобрыкину язык. – Господи помилуй, ты опять?! – спросила мать из-за спины, неслышно в комнату войдя, и, вздрогнув, обернулся он с петлей на шее. – Сними, чумной, беду накличешь! – сказала мать, и отраженье вместе с Шишиным перекрестила.

Он неохотно, пальцами слепыми распустил петлю и, сняв веревку, задумчиво перебирал в руках, по узелкам считая, чтобы не забыть, с какого начал. Шишин не любил, когда к нему входила мать. Мать тоже не любила, если Шишин входит...

«Мать, кстати, тоже можно задушить веревкой, все равно не любит», – подумал он и посмотрел на мать внимательно, с шестого узелка.

– Что вылупился?! Дай сюда! – велела мать и быстро подошла, отобрала веревку. – За хлебом, душегуб, сходи!

Всегда ходил за хлебом Шишин. Постоянно. Как на почту. Каждый день ходил. Как будто мыши в хлебнице на кухне жили.

– Селедочки еще купи. Посолимся, сынок. Сегодня можно, праздник, – объяснила мать, пока возился Шишин в коридоре, пальцем помогая влезть ноге в запясть. – Да хоть бы ложку взял, как люди, идиот! – сказала мать.

«Зачем мне ложка, – удивился Шишин, – если я ботинки надеваю?.. И что за праздник, когда нельзя сосисок, колбасы сырокопченой, сала... И кашу с утра перловую дала без молока и без изюма...» – думал он и, взяв протянутую пятисотку, недоуменно посмотрел на мать.

– Иди-иди... Господь с тобой, – сказала мать и Шишина опять перекрестила.

«Живого места нет на теле от креста», – подумал он и, низко натянув собачью шапку, вышел.

Шишин вышел.

Мать за ним закрыла.

В общем коридоре было тесно, пыль на старой мебели лежала, пол прилипал к следам, линолеум вздымался пузырями и, лопаясь, ботинками хрустел. Вверху под потолком на крючьях ржавых висели лыжи, камера велосипедная на них. Он сделал вид для матери, которая всегда в глазок смотрела в спину, что уходит, и вернулся пятясь за камерой велосипедной. Встал на табурет, чтоб дотянуться, снял ее и, сжав в руках, по черной лестнице пошел. За хлебом.

На лестничной площадке увидел Шишин ненавистного Бобрыкина, стоявшего спиной к нему согнувшись. Бобрыкин ненавистный, в длинном бархатном халате, мусор вытряхивал в контейнер, и страшно, как к покойнику овчарь, выл ветер в мусорной трубе. Тихонько крался Шишин, камеру велосипедную петлей сжимая, и, так же тихо прокравшись мимо, обернулся, добежав до нижнего пролета, и, снизу посмотрев наверх, велосипедной камерой в Бобрыкина швырнул.

Пельменями из дворницкой тянуло, кислым мясом, там жили люди в таджикских байковых одеждах, с тюрбанами, с зубами золотыми, без креста. В лифтовой шахте копошились крысы, где-то в доме открывались и захлопывались двери, мигала тускло лампа, ящики почтовые тянулись вдоль стены.

Над ящиками было рукой врага написано: ГАНДОН!

Дверь за собой захлопнув, Шишин с черной лестницы в парадное ворвался, спиной к двери прижавшись, замер, прислушиваясь, не идет ли следом Бобрыкин ненавистный с камерой велосипедной, чтобы задушить его, но тот не шел, и, подождав немного, Шишин вдоль почтовых ящиков шмыгнул к своей ячейке и, на лифты косясь украдкой, чтоб не распахнулись, быстро вставил в дверцу ключ; та приоткрылась. Глаза зажмурился Шишин, осторожно руку в почтовый ящик опустил. Всегда зажмуривался Шишин, когда не знал, что в ящике почтовом. «А этого никто не знает, никогда, – подумал он. – Засунешь руку, – думал он, – а там вдруг кошка, например, сидит. Возьмет и тяпнет. Откусит палец по колено, буду знать...»

Или Бобрыкин ненавистный ворону дохлую опять подложит...

«Никогда не знаешь, что там может быть», – подумал Шишин, вспоминая, как в третьем классе Бобрыкин ненавистный дохлую ворону подложил в портфель ему. «Бобрыкин ненавистный!» – думал он и никогда не лазил в ящик с открытыми глазами, каждую секунду готовый спрятать руку, и одновременно опасаясь, как бы за спиной не распахнулся лифт и из него не вышел сам Бобрыкин с камерой велосипедной, чтобы задушить его. «Бобрыкин ненавистный...» – думал он.

Вороны не было, на дне конверт нащупал Шишин, схватил его и, с облегчением к груди прижав, стоял, не открывая глаз, и так стучало сердце под конвертом, точно перепрыгнуло из Шишина в конверт. Подчерком Танюши ровным, точно в прописной тетради, значилось в линейке адресата:

*Шишину от Тани.
Улица Свободы 23.*

«*Шишину от Тани...*» – Шишин прочитал, вздохнул и выдохнул, лицо в бумагу спрятал и долго дышал чернилами и типографской краской, клеем канцелярским, лакрицей, жженым сахаром, корицей, монпансье и мылом земляничным... и той рукой, что выводила: *Шишину от Тани! Тани-Тани-Тани! Трам-пам-пам!* – стучало сердце.

Щекотно было, запах светом солнечным сочился. Перцем лестничная пыль глаза слепила, и расплывались строчки на губах. *От Тани, Тани! Тани! Тани... Трам-пам-пам!*

Все расплывалось, растворялось, все стучало! Все! Пельменный запах, лампа, батарея, мать за дверью, тусклая вода... и растворилось, все пропало, все исчезло... Все! Трам-пам-пам! – стучало сердце, и Шишин не заметил, как огоньки табло над лифтом вверх вбежали и быстро заскользили вниз.

«*Шишину от Тани...*», – опять подумал он, нос защипало радостно, как одуванчиками в мае, мятым леденцом, кленовым медом...

Весенней пылью.

Коркой ледяной.

Полыню пыльной у забора.

Черешней, что с Танюшей ели из газетного кулька, вдвоем, и воблиным хвостом.

Ореховым колечком.

Кексом кулинарным в коричневой промасленной бумаге.

Киселем в брикете.

Крем-брюле.

Черемуховым снегом.

Варежки комочком, сухарем с изюмом, конфетой «Ласточка», кремнем о кремь, корой сосновой и янтарной пылью, которую закатные лучи в библиотечных школьных полках собирают...

Он не удержался и чихнул, забыв в рукав прикрыться, рот перекрестить забыв...

– Здоров чихать, брателло! Пей скипидар, ты нужен людям! – сказал Бобрыкин ненавистный, выходя из лифта, и к Шишину неторопливо, усмехаясь, пошел, чтоб отобрать письмо и камерой велосипедной задушить его... – Смотрю, ты брат опять чего-то замышляешь? Иж как нахохлился, ну, сознавайся, что молчишь? Молчишь? И хрен с тобой! Держи!

И, камеру велосипедную на шею Шишину накинув, Бобрыкин ненавистный мимо прошагал, к своей ячейке, достал газету и, опустив в карман просторный длинного халата, дверь распахнул на лестницу и скрылся.

Глава 3

«Два капитана»

В тягостном раздумье Шишин из подъезда вышел, оглянулся, но дверь уже закрылась. Он мрачно заморгал на острый талый свет. Хотелось рот прополоскать от страха, язык заплесневел, разбух, как будто мать дала на полдник подлой вязовой хурмы, и было не очистить рта теперь от рыжего крупитчатого мха. Он пуговицу слабыми руками поискал за ворот, но тошно стало пальцами озябшими искать, и он оставил так. Кивая кротко, пестрый голубь в серых жабрах мимо прохромал и сел нахохлившись на люке, грелся, тускло кося на Шишина большим и глупым глазом. Шишин оживился, сунув руки по-бобрыкински, с морщинкой, в карманы тощей куртки, неспешно подошел и, приготовив ногу голубю, сказал: «А ну... пошел!» И для остротки немного приподнял колено, чтобы голубь знал. И голубь вверх поднялся в дне холодном, переместившись так на следующий люк.

Припорошило, из пустого неба летели косо белые колючки, в проталинах собачьих песьим стыло, на площадке детской ветер заупокойную качелями играл, как будто мертвеца баюкал, а тот все кашлял, кашлял, кряхтел, вздыхал простуженно и страшно. Шишин растерянно стоял, не зная, как бы взять да и домой вернуться сразу, как и вышел, без хлеба, без селедки, почитать письмо... Открылась подъездная, Шишин оглянулся. На ступенях, поправляя санки, стояли Оленька с Танюшей, и те же были санки, и подушка, привязанная к спинке та же, и та же самая казалась Шишину метель...

– О! Шилохвость, брателло! Давно не виделись, примерз? – спросил Бобрыкин ненавистный, появляясь следом, и Оленька смеялась, на Шишина показывая варежкой, что он вот так стоит, как будто бы примерз, и прыгала и хлопала в ладоши, чтоб не примерзнуть тоже, и Шишин улыбнулся Тане, что мог давно примерзнуть, а все же, выходило, не примерз...

С разбегу ветер налетел на мусорные баки, заскулил и, грохнув кровельным железом, потряхивая и крутя, понес за трубы ТЭЦ ошеломленную ворону. Рвануло провода, шрапнелью разлетелись с тополей и кленов остальные твари.

Танюша обернулась, помахала, но ветер вздернул ворот, запорошил, отвернул лицо. Мир, занесенный снегом, не кончался, все тянулось вдоль забора к арке, подглядывая из окошек школьных, шел по часовой. Он спрятал соловеющие уши в картонный ворот куртки, натянув пониже песьи уши, и за селедкой, против часовой, пошел. Пошел то боком, то спиной, с упором, как всегда бывает, если против часовой...

Здравствуй, мой родной, хороший Саня... – Шишину писала Таня.

«Здравствуй, моя родная, хорошая, любимая Танюша», – думал Шишин, письмо Танюшино читая.

Как твои дела? У нас все хорошо, вот только не уходит все проклятая зима. Весна почти в календаре, а за окном такая стужа, что нос не покажи.

А помнишь, Сашка, как в детстве мы с тобой любили зиму? Как ты на санках катал меня и на картонке вниз по горке вместе? И все свистит в ушах! Так здорово! Такая жуть! И об забор! И нос и щеки всё мороз кусает, пока на варежке снежинку несешь домой. Желанье загадаешь, чтоб не растаяла она, пока дойдешь, – она не тает... И всё сбывается, как загадали... все! А помнишь, как я загадала себе на Новый год коньки? Сбылось! Сбылись! Какие белые, красивые коньки...

Как ели снег! Какой был вкусный снег! Невероятно, Сашка...

Как прилипал язык к замку, когда играли, у кого прилипнет крепче... Вот же дураки!

А помнишь, как морковку в овощном стянули для снеговика... А нас поймали! Отругали? Но отпустили... помнишь? Помнишь, милый, какой был синий, какой скрипучий в детстве снег?

Он только холоден сейчас, он грязен, с ботинок не отмоешь соли, гуталин не помогает даже, и день не тот, и ночь не та...

А помнишь, как мы крепость строили за голубятней старой – и вдруг пришел Бобрыкин, все разрушил... Все...

«Помню, – думал Шишин, письмо Танюшино читая; он и в самом деле прекрасно помнил, как Бобрыкин ненавистный пришел за голубятню, все разрушил... – Все!»

– Ты есть идешь? Остынет! Сколько можно звать? – спросила мать, распахивая дверь, и, вздрогнув, Шишин рукавом от матери прикрыл письмо.

Мать не любила, чтоб от Тани приходили письма. И не велела Шишину читать.

– Опять?! – спросила мать, заметив, что Шишин под рукав чего-то спрятал. – Давай сюда! А ну!

Он протянул листок, и, скомкав, опустила мать письмо в карман халата и вышла, хлопнув дверь.

«Мать тоже камерой велосипедной можно задушить», – вслед матери подумал он, и руки земляничным мылом мыть пошел, перед обедом... «Задущу ее, чтоб письма мне Танюшины читать давала», – думал, смывая земляничный запах с рук, и снова мылил, мылил и смывал... Пока от мыла в пальцах не осталась только пена.

– Санька, ты смотрел «Два капитана»? – однажды Шишина спросила Таня.

– Нет, – ответил он.

Мать Шишину не разрешала смотреть «Два капитана».

«Глаза себе испортишь», – говорила мать. И Шишин не смотрел.

«Чтобы глаза не портить, лучше не смотреть».

– Я расскажу тогда! – сказала Таня и рассказала Шишину «Два капитана».

О верной дружбе, верной дружбе и о вечной, вечной о любви.

Про Саню с Катей и Ромашку, про какого Шишин сразу же решил, что тот Бобрыкин ненавистный будет.

«Я летчиком полярным стану. Бобрыкин ненавистный Тане скажет, что меня убили, а я пока открою Северную землю и назову ее в честь Тани – Таней! И однажды приедет ко мне она, где я полярным летчиком работать буду, и скажет «Здравствуй, Саня... это я!» Да, так и скажет: «Здравствуй, Саня, это я!»

И думал Шишин о любви прекрасной, вечной, верной дружбе и вспомнил вдруг, что Саней звали его когда-то люди, а теперь все Шишиным зовут они его...

«Бороться и искать, найти и не сдаваться! – сказала Таня. – Поклянись!» И в домике зеленом, под горкой ржавой во дворе, поклялся Шишин бороться и искать, найти и не сдаваться...

– Ты навсегда клянись! – сказала Таня.

– Я навсегда! – поклялся он.

«А если найдет Бобрыкин ненавистный первым Северную землю, убью Бобрыкина тогда и отниму», – подумал он.

– Ты что там делаешь, чума?! Поминок ждешь моих? – по двери постучав, спросила мать.

– Я умываю руки, – буркнул Шишин и краны от греха подальше закрутил.

Глава 4

Приближе к нему

Приснилось страшное. Пустую колыбель качала мать, и колыбель скрипела, будто по стеклу удавленники пальцами водили.

«Темная сегодня, Саша. Зимней Анны день. Теперь до самого Солнцеворота так и будет тьмить», – сказала мать и лампу тряпочкой прикрыла. Села, облокотясь о стол, вздохнула тяжело, забормотала: «Мытари мое... Приближе к Нему мытари и грешники одне, убийцы, изверги, насильники, своекорысти! Сестры Лия и Рахиль – блудницы, как эта тварь твоя, и слушали его, и ели с ним хлеба, и называл их „Соль земли“. И только фарисеи, Саша, ропотали, как ты, блажили и не слушали Его, как ты не слышишь мать... Порог переступи, сказала! Ну? Нечистый влезет! – И Шишин поскорей переступал порог, обитый изоляционной лентой, с корочкой отодранных газет и тополиной пыли. – И говорили, и роптали: «Он принимает грешников, и вместе с ними угощает нас, и сам их пищи ест...» – бубнила мать, ссыпая соль в тряпичку из кулька, завязывала в узелок и прятала в карман пиджачный, «на память, Саша, не забыть урок. Смотри не потеряй!», крестила спину: «Господи храни», – и в голове вертелось «ближе к нему», и Шишин все уроки потрошил мешок в кармане, на пальце указательном облизывая соль. И хлебную солил горбушку, мякиш, и соли в Танину ладошку высыпал.

Бродили тени по ступеням, глухо, сонно выл ветер в мусорной трубе, и молчаливые тома на полках жались в два ряда; Карл Энгельс, Фридрих Маркс – или наоборот? – подумал он, Иосиф Сталин, «Родная речь» за пятый класс, «Айвенго», «Книга о вкусной и здоровой пище», СССР, 1952 год, где все картинки можно взглядом есть. Салат «Весна», форшмак, миноги...

– Миноги – это что?

– «Готовые миноги нарезать поперек, кусками длиной четыре сантиметра, сложить в салатник...» – хмурясь, прочитала Таня. – Я не знаю...

– Вкусные, наверно...

– А то! А это чур мое!

– А я вот это...

– Ого! Паштетик из печенки!

– О! Поросенок заливной! Ням-ням!!!!

– Хрен с уксусом... у-й-я! Какая гадость!

– А корнишон?

– А у меня стерлядь!

– Дичь... Я дичь! Ты тоже дичь! Татьяна Николавна дичь несет! Подайте дичь! Ха-ха!

Ух, ты... ого...

А на блокноте Тани из Союзпечати, с серыми листами, был переводной котенок, в нем написала Таня: «Ты гулять пойдешь сегодня»? Он писал: «Пойду».

А в центре актового зала стопкой маты, вдоль стены канаты, а в рекреации на третьем – пальма, с кнопками в стволе и надписью на кадке «ШБ-164». А возле вешалок из гипса Ленин, то есть гипсовая голова его, с которой, если нету ведьмы бабы Гали, много гипса – сколько хочешь! – ногтями можно сколупать. А можно звездочкой царапать парту: «ТАНЯ», и дома тоже: «Таня», «Таня», «Таня»... и получить от матери за это по ушам.

Цветы не вянут, зимы жарки, и можно заблудиться в белом яблочном саду, и золотом лучи сквозь доски голубятни старой щекочут нос, и тени исчезают в полдень, тени веток, трав и тени лет.

«Ты помнишь, Сашка, мы всему смеялись? Нам только палец покажи, и все! – писала Таня. – Как пес идет, как грач скачет, какой у Анны Капитонны „капитон“ на заде, ворона-дура кар да кар! Как тетя Тося с Тетей Дусей за субсидией идут. „Субсидия“ – смешно... „Вам

только палец покажи!“ – мать говорит твоя, а только из подъезда выйдем – палец покажу тебе, и оба хохотать. Нет, правда, ты попробуй удержишься! Серьезно, Сашика! Я серьезно! Животик надорвешь, вот до чего серьезно все смешно. „Черт за уши щекочет!“ – скажет мать твоя, а нам смешно и это. Смешно, хоть удавись.

Разбитые коленки, от зверобоя зыкинские синяки... никак не зарастет травой пятак заговоренный, и с каждым годом тяжелеет что-то. То тут, то там, как будто ты учебники несешь за пятый класс домой, а лету – все, кранты. И из осенних листьев в сентябре венки, из одуванчиков – в апреле... А помнишь, на скамейке он лежит, засохший, смятый, снятый... нитками из детства все насквозь прошито, колются иголки, не дают уснуть... И если елку вынесли уже, то в доме пусто так, что слышно пустоту. Она ничем полна. В совке еловые иголки с пылью, осколки шариков разбитых, шорох мишуры. Стучит по классикам от ваксы черной крышка, шайбу мальчишки большие отобрали, в чернилах пальцы, клякса в чистовик, и через горизонт натянутой веревки перепрыгнуть можно, и там уже осалить нас нельзя...

Твоя Т. Б.

«Приближе к нему», – мать сказала в голове, и Шишин палец послунил и, окунув в солонку, облизнул.

Глава 5

День рождения

– Уж небо осенью дышало... – сказала мать, плотней задергивая занавески, обернулась. Шишин хмуро посмотрел на мать. Он не любил, чтоб вслух она стихов читала. Не любил. – Что смотришь, как удавленник на свадьбу? – спросила мать. – Не помнишь разве?

Пушкин!

– Почему на свадьбу? – удивился он, но как-то сразу понял почему. Мысль показалась серой, длинной, как резина, он с подозреньем кинул взгляд на календарь, где красным помечала мать все «православные» недели, ждался: скоро...

Тапки под клеенкой незаметно скинув, прислушался с тоской, как гниль бормочет в черной и кривой, закрытой дверцами трубе, и вспомнил вдруг, что спал сегодня плохо в мертвый час и сны плохие, как в гробу все снились. Старуха с девичьим лицом, собака в волчьей бабушкиной шали, младенец в люльке с каменным лицом, Бобрыкин ненавистный, мать и дворник страшный Петр Павел, тот, который за забором школьным учительницу Анну Николаевну в листьях сжег, что музыку до пятого вела, а с пятого пропала.

«Убавил, не убил...» – шепнуло в голове. «С Петровки сухо, день велик...» – в ответ вздохнула мать, и стало страшно Шишину, что день велик и сух с Петровки, и все идешь, идешь, никак не смеркнешь, и сам не знаешь... что. «И почему так говорят, что он убавил? Убавил не убил, а он убил...»

– Иди, скажу секрет! – во сне пообещала Таня.

Шишин подошел.

– Дворник Петр Павел Анну Николаевну зарезал, – касаясь уха шепотом лакричным, прощекотала Таня. – Теперь, где закопал, нагребит листьев и сожжет, пойдем смотреть?

– Пойдем, – ответил он, – за что сожжет?

– Из ревности, – сказала Таня, – что с физруком в учительской смеялась...

– А...

И вдоль забора, за кустами прячась, они пошли смотреть, как Петр Павел Анну Николаевну в листьях жжет. Во сне запахло шерстью подпаленной, прелью земляной, водой тяжелой. Дымились мусорные кучи, клевало воробье рассыпанные бусины рябин, унылые дорожки беговые, черные от рыжих тополей, двойным тянулись кругом. На воротах висел мешок со сменкой, синий Шишина мешок качался, как манок. Туда-сюда, туда-сюда, как будто ветер в нем качал кого.

«Спи, Саша, спи, Господь тебя храни», – сказала мать, и дворник Петр грабил, грабил листья и руки земляные вытирал о фартук, и капал дождь с изнанок крыш, по ржавым желобам текла вода, и в ухо прошептала Таня: «Мамочки мои...»

Ссутулившись и шаркая ногами, мать подошла к столу и медленно, цедя, жалея ягод, по кружкам разлила компот вишневый, разбавленный, несладкий, как всегда. Горелой шкваркой тлело от плиты, на разогретейшей конфорке выкипала гуща постного борща. Ведущая «Маяк», протягивая буквы, новости читала. «И днем такие были, – думал Шишин. – И всегда».

Приподнимая кружки, мать стерла липкие овалы со стола, и было в кухне тускло, темно, будто света никогда не зажигали в ней. На табуретку встала, придерживая угол у стены, кряхтя, вскарабкалась на стол носками шерстяными, скрипя столешней, лампадным маслом залила фитиль, поправив ласково на полочке образник. Перекрестясь на угол, пошатнулась было, но не упала все же, не сломала шею. Скарабкалась обратно, стала пол мести и, отогнув клеенку, зло сказала:

– Опять без тапок, паразит... хоть кол теши!

Он вздрогнул, подобрал колени, ногами под клеенкой шаря, вспомнил, что мать велела тапок не снимать, и под клеенкой, где никто не видит, тоже, а если снял, то вверх подошвами поставь, вот так! Не как бес на душу поставил, а буквой «Т», а так как ты, по всем углам кидаешь, к потере роковой и скорой смерти выйдешь...

– Умру! Дождешься у меня, – пообещала мать и веником ударила внизу, запятки.

Шишин поперхнулся, не допив компота, встал и вышел. В комнате своей, поставив тапки буквой нужной у полога, сел ждать, когда она войдет проверить, как дела. Она вошла уже умытая, с свечой в руке зажженной и, увидав, что правильно на этот раз составил тапки, не привязалась, а, перекрестив углы, по комнате прошла, читая отходную, вышла. Шишин наклонился, быстро тапки развернул и, развернув, довольный, накрылся одеялом и уснул...

– Саня! Саня! Иди скорей, я нарядилась! – во сне услышал он и, глаз не открывая, встал с кровати и пошел...

Из проволоки медной плела Танюша бантики, браслеты, вплетая в меди разноцветный бисер, невестой наряжалась и звала...

Нарядится невестой и зовет с балкона:

– Саня! Саня! Иди скорей, я нарядилась!

Шишин встанет и идет.

– Зажмурься, – говорит Танюша, – я завяжу глаза, а ты иди не разжмурься, пока я не скажу.

И он зажмурится и ждет, сопя, пока она глаза ему завяжет. И бегают мурашки по затылку, щекотно дышат в шею, в щеку, в ухо облачка смешков, янтарный мятный леденец звенит. И земляничным мылом пахнут быстрые Танюши пальцы. Щекотно носу от повязки и чудно, и тоненькой полоской свет за тапочки сочится.

– Иди! – Он снова топает за ней с закрытыми глазами и сопит.

– Стой! – И остановится, и ждет, что нужно дальше.

– Теперь вертись! – она ему, и он переступает, опасливо, чтоб не наткнуться, не стукнуться, не уронить и не упасть.

– Быстрее! – велит она. – Быстрее ковыляет Шишин, но не так, чтобы совсем уж развиться.

– Еще быстрее! – она опять ему, и слышно, как нетерпеливо мятный леденец во рту звенит.

А Шишин вдруг замрет, опустит руки и стоит, хитрит, когда Танюша сама его раскружит...

И раскружит неповоротливого Шишина Танюша, разматает, и снова будет Шишину щекотно от мурашек: всё щекотно, всё смешно вокруг, как в карусели – всё смешно и быстро, качается туда, назад; как на качелях – небо-лужа, лужа-небо... птица-мячик.

Всё закружится, все вспыхнет, сдернет с глаз она повязку, скажет:

– Разожмурь!

И Шишин, разожмурившись, моргает, но, кроме света, ничего не видно. Ничего.

А только свет.

И карамелью мятной свет пахнет в комнате ее, и монпансье в жестянке, что нитками к карманам прилипают, только положи и не отлепишь, ирисками, лакрицей, леденцами. ...И сохнут ландыши на подоконнике в стакане, и за окном не небо кажется, а небеса.

Из света в белом платье подвенечном стоит она, и волосах венки цветов бумажных, таких, как на Христово Воскресенье мать в кулич втыкает, на запястьях медные браслеты, в проволоках бисер разноцветный. Всё кружится! Всё мелькает! Скачут по салатovým обоям солнечные зайцы, золотые пчелки в лучейках жужжат, и широко распахнуто балконное окно...

– Красивая я, Саня?

– Красивая... – Глаза опустит, на пол смотрит, морщит нос...
– Саня! Саня! Иди скорей, я нарядилась! – во сне услышал Шишин и, глаз не открывая, встал с кровати и пошел...

Был у Танюши день рожденья, в третий день апреля.

В белом фартуке, нарядная, Танюша конфеты в честь рожденья в классе раздавала, горстями высыпая всем на парты. «Мишки», «Белочки», ириски, театралки... как бывают в сундучках жестяных, на утренниках новогодних, когда чего не загадаешь только Дед Морозу, а он одни конфеты только в сундучках дает...

В окно сочилось солнце. В конвертах приглашения на праздник раздавала Таня, не всем, а тот кому конверт протянет – тот и рад. Кому же не протянет приглашенья, с тем она не дружит, а с кем не дружит Таня, тот без приглашенья дураком сиди.

Стоял в Танюшином буфете бледно-розовый сифон, который из воды, как в автоматах, делал минералку. Из бутылки в минералку Танюша желтого сиропа добавляла, как мед густого. Шишин пробовал. Он знал, что вкусно. «Наверно, газировка будет», – думал он, ему хотелось тоже получить конверт на праздник.

Приглашенье.

Саше Шишину от Тани.

Улица Свободы 23.

– Господи спасибо, унесло заразу! – крестилась мать, за тетей Люсей закрывая дверь. – Не загостится добрый человек в чужом доме. Не загостится, совесть знает. Без приглашенья черти только в гости ходят, бездельники и невоспитанные люди. Дармоеды. Нет дел других у них, у паразитов, чужое время на свое переводить, по людям шныть. Обьедь людей. Придет, рассядет, трещит, трещит... как свищ. И дай Господь до ужина её спровадить. Нет! так и будет, будет квашней сидеть с обедни до вечерни, покуда отходную дьяк в колокола не зазвонит. Все съест, что перед ней поставишь, съест и ждет, чума такая, когда еще рябиновки нальют. Алкоголичка! – объясняла мать. – И ты мне чтобы по гостям не шастал, чтоб не шастал! Понял? Знаю я тебя. Не звали – не ходи. И позовут – подумай. Может, так позвали. Не чтоб пришел, а так, что неудобно было не позвать. Подумай трижды, чем в дверь другим звонить. А после третьего в четвертый раз подумай. Не для того перед тобой закрыли люди дверь, чтоб ты в нее звонил и шастал туда-сюда чужие чай пить.

И Шишин по гостям без приглашенья не ходил, а только если Таня позовет с балкона, и то стоял под дверью, чтобы не звонить. Танюша подождет и дверь сама откроет. Скажет: «Привет! Чего стоишь, балда? Входи!»

Но очень Шишину хотелось все-таки пойти на день рожденья к Тане. Из-за газировки этой оранжевой с сиропом. И за конвертами, которые кончались быстро, с беспокойством, пристально следил. Конверт последний положила Таня Бобрыкину на парту, Шишин отвернулся, стал в окно следить за тем, как поживают воробьи.

А воробьи там поживали хорошо, отлично поживали, им было хоть бы хны на ветках, что приглашенья ему не дали. И маленькая девочка с хвостами внизу мелкими рисовала зайца на черном тающем асфальте. Асфальт не тает, думал Шишин, это тает снег...

– Саня, ты придешь? – спросила Таня, садясь за парту рядом, высыпая «Мишек» и ирисок Шишину под нос, он засопел, не обернулся.

«Бобрыкину дала конверт, другим дала, с кем дружит, а на меня конверта не хватило, – думал он. – Я без конверта не пойду. Другого дурака пусть ищет без конверта, просто так ходить». Он так любил, чтобы уж если пригласили, то с конвертом, а на словах не дело при-

глашать людей. Придёт – где будет там написано, что приглашали? И могут даже не пустить без приглашения. «Где ваше приглашение?» – спросят, как в кино и без билета. Что сказать...

«И даже из-за газировки, если даже газировка будет, не пойду...» – подумал он, но все же обернулся, посмотрел на Таню.

– На! – сказала Таня, протягивая Шишину конверт.

Глава 6

Жмурки

Продольная полоска в камне и воронка, запах солнца, цвет апреля.

– Ой! Чертов палец! Капитально... дашь потрогать? Зыко пахнет... А если долго в кулаке зажать еще вкусней, смотри!

– Ага...

– А угадай теперь, в какой руке? Не угадаешь – чур мое!

И Шишин долго думал, в какой руке у Тани громовица, но не угадывал почти что никогда. А громовиц на счастье было много. На пустыре, за длинным домом, в песочнице другой, там, у забора... «Еще потом насобираю, ладно, сколько захочу».

«Илии пророка, Саша, стрелы громовицы...» В платочек громовицу обернув, мать долго мялкой молотила по кулю, крещенской разведя водой, давала пить: «С усадком, Саша, пей, на счастье...» Но Шишин не любил, чтоб громовицы мать его толкла на счастье, и – громовиц найдя, от материв дыру кармана прятал – и, спрятав, забывал, искал еще. И на газету, громовиц нащупав за подкладкой, мать высыпала и опять толкла, толкла...

На счастье ржавый гвоздь и на двери подкова. Четырехлистный клевер, старый ключ. Ресница, перышко рябое, автобусный билет, билет трамвайный, монетка вверх орлом, куриный бог, Илья-пророк, каштан в кармане правом, мутная вода с крупой беленой – все на счастье... все.

«Вели чутворче безначальный, угодниче заступнече благие и везде в скорбях наших поможи...»

Дверь Таниной квартиры приоткрыта. Из-за двери звенели смехи, голоса, стучали каблочки, играла музыка; паркетною гвоздикой, пирогами пахло. Пустынно и тоскливо пробурчало в животе, покрытый мраком лестничный пролет манил бегом назад. Он часто убегал от двери, когда за нею голоса и смех.

– А, Санька, ты? Чего застрял? Входи! – И яркий свет цветной в глаза ударил, и земляничные смеялись губы, и васильковые глаза сияли, и медным золотом закатным волосы горели, в них цвели бумажные цветы. – Давай-давай, не топчись, идем! – дыша нетерпеливо солнцем и лакрицей, мятным язычком звеня во рту, сказала Таня, схватила за рукав, и потянула за собой.

Он замычал, сопротивляясь, во сне пытаясь спрятаться от сна, и продолжал смотреть...

– Смотри, какое платье мама подарила! Нравится тебе? – И поворачиваясь боком, половинкой глаза на Шишина из сна смотрела; и от запястий тонких, от коленей взлетела юбка цвета акварели, и били больно, внутри, где прятал Шишин всякие печали, лаковые каблочки.

– Ага, – ответил он.

Еще часы! Смотри! Бобрыкин подарил! – И протянула Шишину ладошку вверх тормашкой, на запястье блестели крошечные настоящие часы. – По камушку вот тут и тут, и здесь за ремешком, и пряжка золотая!

– Золотая...

– Мне идут?

– Идут... – прислушавшись, ответили, вспомнив свой подарок, кулак открыл и громовицу протянул.

Был третий день весны.

Нарядные сидели гости. Все были дети. Девочки и мальчики из класса. Ели торты, перемазанные сладким. Корзиночки, эклеры... Звенели чашки-ложки, наклонялся розовый сифон, выплевывал в бокалы апельсиновые пузырьки.

– Давайте в жмурки! В жмурки! – закричала Таня. – Сашка вода! Сашка опоздал, ему водить! – И закрутилась вихрем разноцветным, и это был весенний ветер с моря, с юга. Солнечный был ветер. Из тех, что в мае по дворам гуляют, расшвыривая вишен сквознячки.

Всё закружилось, свет погас внезапно. Погасли звуки, на лице от дня осталась колкая полоска шарфа, и захватили вдруг чужие руки, невидимки-пальцы, щипали, цапали и гоготали, били в бубен, и колокольчик зазвонил хрустальный, и ничего не видно было под повязкой. Никого.

И смолкло. Оборвалось. В круг тесней дыханья сбились, таял эхом где-то голосок Танюшин, летний странный смех. Как будто падает она, подумал он, и тишина такая стала, такая... Такая странная, такая... тишина...

И потихоньку дети за Танюшей из комнаты на цыпочках крались, на черной лестнице скрывая звуки.

Шишин, ты один остался...

Жмурик Шишин...

Шишин вода!

Шишину водить...

– Ты, Шишин, в жмурки сам с собой играешь... – шептались в голове и под подушкой.

– Смотри, идут часы? – спросила Таня.

– Идут... – прислушиваясь, согласился он.

И шли часы. И было в комнате темно и тихо. Сумерки стекали синими тенями, прятались за шторы, во дворе знакомо скрипели старые качели, и метроном стучал на Танином рояле, как будто в сердце этот метроном стучал. Он подождал еще и, не дождавшись, сам сорвал повязку. Сорвав ее, остался в той же темноте.

Глава 7

Песочница – песочек

После дождичка небеса просторней...

«В пятницу на Святочной неделе сон всякий вещий, – объясняла мать. – Уснешь, душа во сне покинет тело и скитается, блуждает. Ее нечистый дух тогда подстерегает. Иисус уже родился, но не крещен, в это время сатане раздолье. Спросишь – правду скажет, но плату за рассказ возьмет такую, что не открестишь потом и не отмолишь. Ты, Саша, если сон тебе плохой на Именинную приснился, за темя подержись, в живое пламя свечки под образами в кухне посмотри или в окно, где свет от дня, перекрестись и постучи в стекло. Три раза постучи. Как в деревяшку. Стучишь по деревяшке, дураком не будь! Проверь, чтоб не фанера и не пластик. По пластику стучать и по фанере, как головой твоей пустой о стенку, толку нет! Хоть десять раз стучи... Хоть кирпичом.

И не зевай со сна и перед сном! А если зявкнул, перекрестись и тут же рот прикрой ладонью. Слышишь у меня? А то раззявишь пасть, и черт влетит, не вызвнешь потом. И будет дрянь тебе такая сниться, что волком взвоешь, понял у меня? И если все-таки со сна давленника хуже, то за железку подержись тогда, а хочешь, высунь ногу левую через порог и прикажи дурному сну уйти. Попей святой воды. И окропи остатком кровать, ковер и полки, все углы... И ничего с дурного сна тогда тебе не будет...» – обещала мать.

В мертвый час, после обеда, Шишину приснилась девочка Танюша, из тридцать третьей квартиры снизу. Дождь оборвался каплей на носу. Брезгливо от воды отряхивая лапы, придворный кот Степан прошел, с отрезанным садистами хвостом и разноцветным ухом, колченогий. Когда-то найденный Танюшей мертвым за забором, а теперь живой. По кромке лужи пропрыгал воробей, застрекотал, отряхивая солнечные искры; медовой канифолью задышало от земли. Парил гудрон, цвела сирень. Сергиевский шиповник ракушки раскрывал, ручки сметали к люкам снег вишневым, и ветер тек навстречу теплый, южный, как будто в небе жарили картошку с луком, ну или сырники изюмные пекли...

– Вон девочка Танюша, из тридцать третьей квартиры снизу, – Шишина подталкивая в спину, сказала мать. – Иди с ней подружись и поиграй в песочек, понял? – И Шишину дала совок с ведерком, подтолкнула.

Он не любил, когда его толкали, и девочек он тоже не любил. Любил, чтобы в песочнице без девочек играть. Сейчас совок отнимет и ведерко, укусит, ущипнет и палкой треснет, а после заревет, как будто это я... Его нередко девочки в песочницах кусали. И Шишин хмуро посмотрел на мать.

– Иди-иди, куркуль! – сказала мать, и Шишин неохотно захромал куда велела и девочке Танюше из тридцать третьей снизу сразу протянул совочек и ведро. «Пускай теперь отнимет», – думал он.

Она на корточках сидела, палкой ковыряя лужу, взяла совочек и ведерко, палку Шишину дала. Он палку взял, подумал, осмотрел и с палкой отошел от девочки подальше. На всякий случай, чтоб не укусила, и заворочался, забормотал во сне, стараясь отвертеться, чтобы небо не светило, но только глубже завернулся в сон.

– А как тебя зовут? – спросила девочка из тридцать третьей снизу.

Он промолчал, на всякий случай. «Молчи, за умного сойдешь», – советовала мать.

– Ты что, дурак? – спросила девочка из тридцать третьей снизу, он молчал.

– Иди сюда!

– Иди, ты будешь суп? – Он промолчал еще, надеясь, что девочка сама отстанет приста- вать, отдаст ведро с совком, и «ничего потом не будет», но девочка не отставала.

– Ты что, со мной не дружишь?

– Нет.

– А с кем?

– Ни с кем.

– Тогда давай дружить?

– Давай, – ответил он, хотя и не хотел дружить, и отвечать не думал.

И палку тоже девочка отобрала.

Песок снаружи желтый, а внутри сырой, и свет такой, как будто солнце выплеснули в лужи, чертила девочка из тридцать третьей снизу палкой на песке...

– Вот тут прихожая у нас, тут висельница, шапки вешать, вот тут твой кабинет, тут кухня.

Это телевизор. Ты позвони, а я уже как будто дома...

Он позвонил, она открыла:

– Привет! Котлеты будешь?

– Буду.

На бортике песочницы котлеты. К чаю куличи. Из одуванчиков компот. Картошка из камней. И Шишин камни чистил, а девочка из тридцать третьей снизу их в ведре варила. И посыпала все укропом из травы.

Поели супа, стали чай варить. Но чаю оказалось мало в ближней луже, и вместе к морю Черному пошли, под горкой.

– Корабль! – на горку показав, сказала. – Хочешь, поплывем?

– Нее... глубоко... – ответил он, – мне мать не разрешает в лужи лазить.

– А тру сов на корабль не берем! – И через море зашагала к кораблю.

Кирпичная стена четвертого подъезда. Резиновый прыгун, упавший за подвальную решетку. Кривая карусель, одним крылом скреби. Оранжевая медь на козырьках, кусок тянучки, эмальный запах краски от качель. Угольной черноты земля, дымящийся асфальт. Следы кота, и их следы на память, резина жжена подошв. Балкон ее, расклешенная занавеска в синих тиграх.

Его балкон повыше, с зеркальной гладью мытых матерью окон. Трофейная гармошка, в розовой бархотке, в нижнем ящике стола. Испорченная йодом скатерть. Пистоны на столе, чердачное окно, в нем висельник висит. Посмотришь – тоже висельником будешь. Жуки-пожарники, и майские жуки, «Земелька» «Ножечки» и «Дымовушки», расплавленный свинец на чайной ложке. Замазка, вар, смола, заколка-«незабудка», шпильки, лейка, запах желтых книг и горизонт из бельевой веревки, натянутый от горки до забора. Резиночка, хомяк Песочек, сдохший в банке, в термосе взорвавшийся карбид, пороховушки, главный муравей, могильный крест из спичек, небо, небо...

Корабль уплыл. Держась за темя, Шишин в мрачном настроении вошел на кухню, на живое пламя свечи под образами посмотрел, открыл окно, посмотрел в него и, постучав в стекло три раза, взял кастрюлю, прижав ее к груди, через порог просунул ногу и так стоял, приказывая сну не сбыться. Мать споткнулась:

– Чтоб ты провалился, ирод! – Отобрала у Шишина кастрюлю и велела убираться с глаз долой.

Глава 8

Почта

«Здравствуй мой родной, хороший Саня, – Шишину писала Таня. – Только посмотри, какое странное, какое синее, как будто кто-то море опрокинул, небо! И так и думаешь, что как же мы внизу, одни...»

Я думала, что я умру. Бессмертны только в детстве. Больничная палата, осень, оконный свет такой пронзительный и яркий, как будто я обречена, и эти апельсины три, этот кроссворд проклятый, этот, этот, этот запах страшный! Саша! Господи ты боже мой... вода в бутылке, «Аква-минерале», мне ничего не надо этого, не надо. Я не хочу, состарюсь, Саша, умирать.

И я стояла у окна, смотрела долго, а в голове такое странное, такое бесконечное тирли-тирлем, тирли-и шиш, как колокольчик тренькал, и все тирли, тирли, на ноточке, на ноточке одной... и фьють! затихло вдруг, оборвалось, чудно. Как будто оборвали.

Мне только счастья, Саша, только счастья, Саша... Я счастья, счастья, Саша, так хочу!

А мир такой спокойный, зимний, тихий, звезды... Сугробов намело, оранжевые окна, фонари, и льдом вода покрыта Головинского пруда, таким глубоким, что как будто до дна льдом. А помнишь осенью оранжевые листья опали на длинные ступени у воды, и мы с тобой стояли на последней, а ты боялся ноги промочить, чтобы не заругала мать?

Жизнь взять и выдохнуть, как облачко, в оконное стекло, а лучшие в форточку, и пусть летит, летит себе, и ничего не жалко, никого. Закрывать глаза, калачиком свернуться, пусть и пусть! И обо всем забыть. Тирлем-тирли...

Квартира в три стены, окно, и занавеска та же. И знаешь, Саша, точно, если я посуду не помою, мир сойдет с ума! Все эти стулья, ниточки-катушки, чашки-ложки, полки, забытые хламом, быльем, жильем, тряпьем, что только приоткроешь дверцу – валится на пол. И кажется, однажды как во сне раздуется и лопнет шкаф... Бабах! Как лопнул в термосе у нас с тобой карбид.

Тебя ругала мать за термос, за веревки, за... господи, за то, что в луже промочил ты ноги! Но как же можно, как же можно по лужам в детстве не ходить? Не прыгать через них! А по чему еще ходить? Через чего же прыгать, как не через лужи?

А я умру когда, возьму с собой на память ржавый гвоздь, четырехлистный клевер, старый ключ и перышко рябое, что ты мне подарил, автобусный билет счастливый, чертов палец... и если ты пойдешь со мной – тебя...»

«Пойду», – подумал он.

«Ты помнишь, Сашка, умер главный муравей, и мы с тобой его похоронили у забора, и нового на главного потом ловили муравья? Такая очередь, один возьмет билет, за ним другой, и бесконечно так тирлим-тирлим... и оборвется вдруг.

И море. Саша, Саша милый, милый, милый Саша, море... нет всему конца, ему конца. Но чтобы не было конца у моря, всего лишь нужно берег пруда заслонить под козырек рукой. Всего лишь фокус-покус, чтоб морю не было конца.

Чтоб не было окна – глаза закрыть. Чтоб завтра не было, всего лишь не проснуться. И все-таки мне грустно стало, Саша, о том, что как же мир потом один, без нас?»

Все вечерело... вечерело – и погасло. Вдоль школьного забора Шишин за конвертами шагал на почту. Долгие полоски в розовом снегу чертили тени, оранжевые ложечки семян крутили фонари, жемчужным яблони цвели, и черные в засахаренных шапках пудры снежной зябли в звездах лапочки рябин. «Как клюква в сахаре», – подумал и, голову задрав, остановился

и смотрел. С забора на него смотрели снегири. «Еще не всю склевали, паразиты! – думал. – Не могут сверху, подлые, пообкусать. Назло пообкусают снизу, а сверху, как ни прыгай, не достать». И он подпрыгнул все же под рябиной, но только снежных шишек в рукава натряс.

На почте было тихо и тепло. Какие-то старушки копошились за письменным столом, у батареи жалась неразобранная елка, очередь молчала, пылился в кадке фикус, новогодние гирлянды дрожали по углам, в межоконье спали мухи, перьями цветными на улице кружился снег. Жужжала тишина.

Шишина в окошке девушка узнала и улыбнулась, кутаясь в платок. «Как моль прожрала», – хмуро думал он, разглядывая волосы почтарки, нос ее кривой и длинный и узенькое призрачное ухо, зачем-то дважды отраженное в стекле.

– Так много писем пишете, мужчина, что же за работа у вас такая? – спросила та приветливо и с лаской заглядывая Шишину в глаза.

– Мне пишут – я пишу. Работа – как работа, – буркнул, отводя глаза.

«Да и сама как моль», – с тоской подумал он, внимательно считая сдачу, и, спрятав под обшлаг конверты, вышел.

Из снежной пустоты вздохнуло, ухнуло, завывло, обкусывая уши, понесло, толкая и крутя по слезной стыни, вдоль тусклых ламп фонарных, от пятна к пятну. Навстречу из небытия бежали люди-тени облепленные вихрями взбешенных белых пчел... Забралом лязгая, промчался мимо Шишина гараж-железный. Гавкнул хрипло из-под арки пес. Хромая проскрипел засахаренный горб «победы» синей, с вырванным крылом и мертвым глазом. Торжествующе мигнула в ржавом небе вышка. У забора ветер свистнул, тряхнул и потащил из снега старый клен, но не осилил, бросил, огляделся и, Шишина во тьме не рассмотрев, завыл разбойничьи и жутко, бросился назад, на площадь, другого дурака искать...

Он быстро пересек до половины детскую площадку, огляделся и, нырнув под горку, из-под ступеней посмотрел наверх. Танюшино окно приветливо смотрело абажуром рыжим, занавески с львами обнажали край кухонного стола. Она вошла...

– Здорово, Шишкин лес, брателло! Ну как тут с коммуналкой, топят? Не дует? В щели не свистит? А то смотри зови, по старой дружбе помогу законопатить! – от подъезда пообещал Бобрыкин ненавистный, ухмыляясь, махнул рукой и скрылся.

Мир заклокотал опять, вцепился в горло, затряс над головой ледовый желоб, затявкали, и завыл, и закружился, толченное стекло к забору унося.

– Все носят, носят черти паразита! Господи, прости, никак не унесут. Снимай, не натопчи! – сказала мать, из кухни выходя, и, хлопая руками, шурша газетами, прошла по коридору. Над ней кружилась моль.

Он отшатнулся. Руками в страхе отмахнул седую жуть с лица...

– Все барахло твое, труха твоя! Заводчик! – обратно проходя, все так же хлопая руками, бубнила мать. – Смотри: тебя сожрет, как всю крупу сожрала. Как все мозги твои! Есть будешь?

– Позже – да.

– Запозже моль сожрет, – пообещала мать.

Развесив мокрое по шкафу, в комнату свою пошел, на дверь закрылся и, в нижний ящик от моли с матерью свои покупки спрятав, подошел к окну, письмо Танюшино из рукава достал и дальше стал читать...

«А я сегодня убиралась целый день. У нас в муке, крупе позаводилась моль. И в банки, хоть они закрыты, тоже пробирается зараза. Или сама заводится, из ничего? Из этих корок апельсиновых, что специально от нее кладу в шкафы?»

У вас есть моль? У нас она повсюду. Мне кажется, она съедает все... Съедает время, память, даже сны, чтобы леденец в кармане летней куртки стал похож на кокон шелкопряда, а яблоко каштана сгрызла черная труха.

Она – как дворник, что учительницу музыки убил. Сгребает листья над разрытой ямой, метет, метет и граблями шуришит... И жизнь как будто снится, снится всё, и сны ее из выцветшего ледяного дыма.

Ты помнишь, Саша, за забором школьным, в траве полынной, облако из мух... и листья, листья... и слипшаяся, как будто дегтем перемазанная шерсть... Какая страшная становится земля, едва припорошит ее седое в снег истолченное просо! Как ветер дует изо всех щелей!

Пустое снится, милый, страшно в нем, темно, и только шорох крыльев, без свечи не видных, и ветер за окном закрытым у-уууууу... всё замечает, замечает всё. И мать твоя раскладывает в коридоре старые газеты, чтобы мы с тобой не натоптали. Где тут? Что всё?

В аквариуме школьном рыбке золотой со стеклянными глазами желаний много мы загадали, но ей, наверно, надоело строить замки из корыт. Мечты мои о будущем, любимый, прошлое напоминают. Вернуть, вернуть, вернуть! И все начать опять...

Туда вернуть, где горка, а под ней с помятым боком мячик. Где пахнет медом осень, а весна – дождем и где сосульки все как леденцы. Туда, родной, где суп из одуванчиков, а чай – из лужи. Где клад зарыт за школой, птица золотая и звезда над башней. Где прошлого не страшно, жизнь в начале и вот-вот гроза...

А помнишь, Саня, те волшебные часы? Я их случайно, убираясь, сегодня в нижнем ящике нашла... Опять цвела в саду та самая сирень, тот самый воробей скакал по кромке лужи, скрипели старые качели, в небе простыни захлопали, как паруса, корабль отходил обратно, кот Степан, убийцами убитый, сидел живой на лесенке, под мачтой, и умывался от дождя, а с веток все летели солнечные брызги...

А помнишь, как мы стрелки на часах с тобой переведем вперед под партой – и уже звонок! А если воскресенье к сумеркам и понедельник на носу и никуда не деться, вернем на день назад и так сидим и смотрим друг на друга. И довольны. Довольны, дураки! Как будто правда больше понедельника не будет...

А воскресенье всегда... Часы волшебные придворного кота Степана воскресят. Корабль нас дождется. Будет чай из лужи. Солнце. Лакричная карамель и сны.

Твоя Т. Б.».

Глава 9

Рынок

Едва за полночь повернули стрелки, поведя отсчет иному дню, Бобрыкин ненавистный Шишину во сне явился. Нечеловеческая злоба читалась в искаженном ревностью лице его. С глазами алыми, играя желваками, Бобрыкин, в длинном бархатном халате, по черной лестнице спускался с мусорным ведром в руке. В ведре, похрустывая банками пивными, среди картофельных очисток, хлебных корок, шелухи, в зловонной гуще, сидел сам Шишин, ногами и руками упираясь в бак. Себя во сне увидев, он похолодел и, ослабев, скорее голову прикрыл руками и, сжавшись в запятую, заснул.

– Цыц, шиш собачий! – с кривой усмешкой, будто пережевывая стекла, прикрикнул ненавистный, ненавистный! И, лязгнув крышкой, вытряхнул ведро.

– Ну что блажишь, скулишь, как пес чумной?! – заглядывая в комнату, седая, страшная со сна спросила мать и, мрачно цокая губами, скрылась.

Слушая шаги, которые всегда под утро за стеной ходили, Шишин быстро в воздухе водил руками, закрыв глаза, отряхивал с пижамных складок шелуху и гниль и, окруженный баннным паром, долго стоял, переступая под горячим душем, оглядываясь, будто шел куда-то торопясь или бежал. И пеной земляничной тело под пижамой обмывал.

– Завтракать иди, размылся! Дурь не отмоешь, сколько ни скреби! – в дверь постучав, сказала мать и, не дождавшись, погасила свет. Она всегда гасила свет, не дожидаясь.

Он вылез, в темноте держась за скользкий ванный борт, содрал пижаму, вышел, оставив мокрым комом на полу...

По Чистым четвергам мать посылала Шишина на рынок: молочка живого литр возьми с цистерны, творожка, сметанку, триста грамм, на борщик, чтоб не больше мне, смотри. А то навалют! Увидят, что дурак, навалют, и пойдешь, как навалили, за бери живешь! Изюму, кураги – они там знают, сколько дать тебе. Селедки – у армян, у них хорошая, молоковая. У наших подряннее, плоская, жирами вся в икру. Овсяного печенья весового. Чтоб не как в прошлый раз – зубов переломать. Сосисок развесных штук десять... пять! И «докторской» сто грамм на ужин, сальца, дарницкого и батон. Батон и можешь кекс. Нет, кекса не бери! Задрали цену, паразиты, сволочи, собаки! Что только удавиться с них. Лимон и мандаринов килограмм. Их там, где курага. Они там знают, сколько дать тебе, какие. С косточками не бери. Так и скажи, без косточек чтоб были! С косточками сами пусть едят, их свиньям только жрать. Без косточек не будет мандаринов, то лучше апельсинов полкило. И курицу, где ты берешь сосиски. Где ты берешь сосиски, помнишь?

– Что?

– Тьфу, господи, холера! – сказала мать и, посплюнув на грифель, в листок все так же непонятно записала и дала.

– Чтоб все по списку, понял? Понял?! Слышишь или нет?

И Шишин закивал, что слышит, слышит... Он списков не любил и, морщась от бумажного шуршанья, остановился на пороге, качаясь, складывал углом к углу в четыре, в пять, еще...

– Щаз руки оборву! – пообещала мать.

Он вздрогнул, вспомнив список, в котором не было его. «Все были, с „А“ до „Я“, как и положено, по алфавиту», – думал.

«А я?» – спросил у Ольги Константины, «Ты, Саша, из другого списка», – ответила она. И долго Шишин на журнал смотрел сквозь плечи класса, надеясь, что случайно выпадет на пол тот список, в котором он, но список так и не упал на пол.

– Давай, как все уйдут, потом еще поищем? – спросила Таня.

Но все из класса так и не ушли. Все никогда и никуда не уходило. «То выйдут, то войдут. Сидят и копошат. Английский делают», – подумал с отвращением – и заторопился, как всегда он торопился после и до того как никуда не торопился он.

– Куда без шапки, куль чумной? Там без тебя не похоронят, – протягивая шапку, затупила мать. – А купишь – вычеркни из списка, что купил. Чтобы по двести раз не покупать. И плюй на грифель, плюй! А то не пишет, через крест дыши! Кругом зараза, птичий грипп! – И Шишина перекрестила: – Свиной... Господь тебя храни...

«Шишкин! Шилохвостый в списке! Вычеркнем его!» – кричал на черной лестнице Бобрыкин ненавистный, и чтобы не кричал под шапкой, сволочь, гнида гад, собачьи уши Шишин крепче, ниже опускал.

– Давай другой напишем список! Где только кто хотим? – спросила Таня. Таня ручку грызла.

– Давай, – ответил он.

И записали в списке только Таня Т. и Саша Ш. «Вот так!» – подумал он.

День встретил незаметный, хмурый. «Вчерашний», – догадался он.

Четверг. Свет капал, всхлипывал, вздыхал. Скрипел. Он чуточку прошел и обернулся к Тане. В окне стояла мать. Слетела с подоконника ворона, большая, черная, как поминальный материн платок, и, пролетев всего два шага, упала на забор, пропрыгала и снова полетела. А если б Таня... Таня! Если б Таня... думал, но мать не отходила от окна...

За голубятней старой небо порвалось и расколосось желтым, плюнуло в лицо, как будто скорлупа разбилась. В лисьей шубке, в шарфике вишневом, вышла из-под арки Таня. «Таня... – прошептало сердце. – Таня!!! Таня-Таня! Та-ня!» Застучало, будто летним утром бабушка с веранды завтракать звала; и выпрыгнуло, полетело, на рябине стряхивая снеговые перья, кося веселым глазом, закрутилось воробьем.

– Привет! – сказала Таня, варежкой махнула и прошла...

Он вздрогнул, обернулся. Белым день промозглый выдохнул в лицо, и пусто улица смотрела с краю и до краю, снежные кружили перья. «Пустодень, – подумал Шишин, – как ангела, распотрошили, идешь, идешь...»

У входа «РЫНОК» постоял немного у палатки «Видеопрокат», разглядывая разные названия фильмов, с любопытством читая под стеклом истории. В витрине лампочки зеленые, как в Новый год, горели, смеялась грустно девушка внутри. Снаружи тоже девушка смеялась... «Красивая какая, но не Таня», – думал. Кругом была не Таня, где ни посмотри...

Костлявый страшный продавец, весь в оспе, с гадостным лицом, спросил внезапно: «Какого плана фильмы вам?» – и Шишин заморгал растерянно и сжавшись, отошел, сжимая плечи, с ресниц промокших вытирая снег.

– Козел... – сказали в спину.

«Но может, и не мне?» – подумал без особенной надежды.

И засмеялись тоже не ему.

Заборным словом, напугав, ругнулась женщина с цыганскими глазами, в палатке «Творожок» спросили: «Сколько вам?» – и головы свиные висели над поддоном ржавым пятачками вниз, коровьи ребра в тучах снежных мух. Замахиваясь рукавами, с крючьев свешивались свитера... Бритоголовые, все в черном, сплевывали сигаретный дым...

«Да ладно, ладно вам!» – подумал, карандаш достал, остановился, послунившись на грифель, вычеркнул из списка всё – и вздрогнул, ужаснувшись, что мог и не купить того, что вычерк-

нул уже. Пошел назад, тревожно вглядываясь в лица продавцов, но продавцы все были, как китайцы, на одно лицо. Кивали, говоря на непонятных языках, как будто языки во ртах свернули, и снова стало пусто. Душно. Жутко. Везде шумели шумы, голоса, из тех, которые всегда везде шумят... С печей татарских пахло хлебом мягким, Шишин подошел и стал. И медленно пошел за длинной шубой, в которой тоже кто-то очереди ждал...

На шерстяных ногах, в пальто буланом, у хлебного лотка стоял старик худой, протягивая шапку; в шапку падал снег. Не таял на подкладке. «Как моя подкладка, гладкая со шрапью», – и в шапку Шишин рубль положил, как научила мать: подай, и не убудет, что подал, но на весах небесных медную монетку ангелы в серебряник зачтут. Как некий был богат, как президент, антихрист (наш и их), всё одевался в порфирия, кровь пил и жрал и бед не знал, как все они не знают бед и совесть. А некий Лазарь у ворот лежал, весь в струпьях, и молил о корке, о воды стакане, о гроше. И так и умер у ворот, неподаянным, не напившись. Но равно в тот же день Господь прибрал и этого, скотину, который одевался в порфирия. И Лазарь нищий вознесен был в лоно Авраама и там напился и наелся вдоволь, а тот, бессовестный, был в ад. И в аде, будучи в мученьях страшных, варясь в котле, как холодец варю, он возопил: «О, Аврааме! Умилосердись надо мной, пошли мне Лазаря, чтоб омочил конец перста в воде, которой не допил. И прохладил мое пылающее тело, мой язык и лоб. Так мучаюсь я пламенем сиим!» Но Авраам сказал ему: «Ты получил уже награду на земле, а Лазарь ныне же в раю утешен. И так же, как однажды пропасть к Лазарю не захотел ты перейти, хотя тебе мерзавцу на земле до Лазаря всего два шага было, так же и теперь отсюда Лазарь не сойдет с небес к тебе».

– А если бы подал горбушку президент? – поинтересовался Шишин.

– А если бы подал, тогда сошел, – сказала мать.

И Шишин посмотрел на старика. Старик затопал, засердился и, шапку вниз перевернув, стряхнул на снег и прочь пошел, размахивая рукавами, оглядываясь дико, бормоча. И две монетки поднял Шишин из-под ног, и, с прежними сложив, купил лепешку.

Он ел лепешку по дороге к дому, откусывая понемножку, и опуская сумки в снеговую завесь, воробьям крошил, которых было много в феврале. «Как мух в Афганистане», – из памяти сказала мать. А в долгой зимней мути близко бежали круглосуточные магазины, лужи, крутили головами фонари... Там сумерки уже спустились к дому. В подъезде было сонно, гнило. Воняло тряпкой, проводами, дрянью, как будто в утнице чугунной мать хвосты тушила за дверцами пожарного щитка. Мигала лампа. Уныло ныло в шахте, на душе скреблось и вылезти хотело, закричать и с криком спрятаться за дверь.

Войдя, затравленно и долго Шишин жал на выжженную кнопку, давил, давил и, голову задрав, ждал с беспокойством, болезненным и чутким, желтый огонек с восьмого этажа. Но тот был неподвижен. Из лифтовой щели сочился тусклый свет, как будто мать, в кабинке запершись, Евангелие читала... «С чужими в лифты не садись, Господь тебя храни! Зарежут, выпотрошат, как гуся, и будешь знать!» – из памяти сказала мать.

Лифт наконец ожил, поплыл, не торопясь, с трудом глотая этажи, и распахнулся. Он рванулся, каждую секунду ожидая, что вместе с ним какая-нибудь сволочь на все готовое войдет или маньяк. Вдавил шестой и с облегчением замер, закрыв глаза, переводя дыхание, к стенке прислонился...

– Здорово, Шишкин лес! Своих возьмешь? – спросил Бобрыкин ненавистный, плечом могучим раздвигая дверь. Румяный, бодрый от морозца, повязанный небрежно шарфом, кареглазый Бобрыкин ненавистный, усмехаясь, сверху вниз на Шишина смотрел. – Что вылупился? Дорого берешь? – спросил Бобрыкин и нажал на пятый.

Глава 10

Варежка

Дверь сквозная, с лестницы – налево. Шишин у двери остановился, боясь, что, открывая, треснет по лбу мать, и отошел подальше, вжался в стену. Мать не открывала. Всегда с надеждой он заглядывал в глазок с обратной стороны двери, хотя и знал по опыту, что никогда в глазок с обратной стороны не видно. Не видно было и сейчас. Дверь распахнулась. Шишин отшатнулся, потирая шапку, хмуро, исподлобья посмотрел на мать.

– Замерз? – спросила мать.

– Нормально, нет, – ответил он.

– Ну, дай господь, – сказала мать, – входи! – И Шишина перекрестила.

Он вошел. Мать собиралась.

«Собирается куда-то, – понял он. – Когда мать собирается куда-то, сразу видно», – думал и, думая, за матерью ходил.

– Да отвяжись же ты!

Он сел на кухне, с кухни слушал, ждал, угадывая в звуках, что собирает, собираясь, мать. Один в квартире он любил остаться. Все можно делать, что-нибудь искать...

Шишин редко знал, что именно он ищет, но интересно было поискать и так, не зная, а поискав, чего-нибудь найти. Мать знала, что, когда она уходит, Шишин любит искать чего-то по шкафам, в буфете, в антресолях и даже в тумбочке ее, и этого не выносила.

– Я в сберкассе! Ненадолго, понял? И чтоб не смел мне лазать, ящиков не открывал! Ты слышишь? Понял?

– Да понял, понял...

– Знаю я, как понял! Будешь лазать, увижу – руки оборву! – пообещала мать.

«Всегда не обрывала и сейчас не оборвешь», – подумал он, из кухни выходя прощаться.

– Смотри! – сказала мать, рукой махнула и ушла.

Он к двери подошел, прислушался, ушла ли мать совсем или еще стоит под дверью, поджидая, как только лазать он начнет, и, тихо створку приоткрыв, увидел, что ушла. Захлопнул дверь и сразу же присел на корточки у шкафа. Обыкновенно Шишин быстро находил что ищет. «Когда не знаешь что искать, то проще находить, а если знаешь, то хоть тресни не найдешь», – подумал и, старенькую варежку найдя, прижал к лицу. Тихонько варежка хрустела коркой мандаринной, лавандой выцветшей, зимой давно прошедшей, огоньками елки, что погасли... шариками, что разбились...

«Варежка моя...» – подумал он.

– Пора вставать! – сказала мать, прошла к столу и занавески распахнула.

За окнами крещенская густела синева, потрескивали стекла. Над швом бетонных крыш горой свинцовой толпились облака, отчетливо очерченные всполохом зарницы, в небесной проруби мерцало... Шишин с ненавистью посмотрел в окно, зажмурился и, в мягкой теплоте прижавшись к варежке щекой, свернулся в запятую. «Тихо у меня...» – шепнул, и варежка притихла.

– Мороз! – сказала мать. – К засушливому лету, вот увидишь. Посмотри-ка только, как разобрало к великодню! На Волочебник тянет, к Пасхе... Опять пораскидал! Порассувал! Нет на тебе креста, бесовестный такой, – бубнила мать, игрушки подбирая, – а мать ходи... кряхти.

И мать ходила и кряхтела.

– Теперь три дня, смотри, белья стирать нельзя, загадишь и ходи в гадье до Спаса...

Тепло и сонно варежка колола щеку, косясь на Шишина из-под руки веселым пуговичным глазом.

– Вставай-вставай, тетеха... – сказала мать, откинув одеяло и, Шишина за пятку ухватив, пощекотала.

Шишин пятку отнял, зарычал.

– Не заболел? Опять в кровать заразу тянешь, да? – спросила. – Опять?! Дождешься у меня! Дождешься, заблошивешь, понял? Вон и сейчас горишь! А дальше пятнами пойдешь лишайными, как плесень! – И, отойдя к шкафу, открыла ящик, градусник достала, стряхивая, снова подошла: – Ну, дай её сюда! Отдай... Добром прошу! По улице в ней ходишь, аспид! За всякую же держишь дрянь, потом в кровать несешь? Давай сказала, ну?

Он заскулил.

– На, градусник поставь! Сил нет с тобой! Ну нету сил с тобой... Весь пятнами пойдешь, как пес чумной, облезешь... Не дашь? И не давай. О господи, прости, под тридцать девять! Да подавись ты, подавись ты ей! Не дашь – не надо. Только знай: кто тащит дрянь в постель, тот весь чумой потом, блошливый ходит. С чумным никто играть не станет, дружить не будет. Понял у меня? За партой девочка красивая с чумным, с лишайным, с дураком, как ты, сидеть не сядет. Вырастет и замуж за другого выйдет девочка такая. Знаешь, знаешь, как ее зовут? – спросила мать.

«Знаю...» – вспомнил Шишин и варежку с кровати отшвырнул.

«Цветом без запаха и запахом без цвета, временем без цели пахнет, – думал, сидя у ящика в прихожей на полу. – У времени нет цели. Оно идет, идет, идет куда-то, куда само не знает, стирает все. Как дождь стирает утро, день и вечер, как снег в окне стирает двор, песочницу, качели, голубятню, голубей, весь мир. Ведь это время перекрасило скамейку, домик, горку во дворе... Зачем? – подумал он. – Оно уходит вырванным листом тетрадным, самолетиком, летящим в школьное окно, когда учительница вышла. Звоном стекол, мячиком разбитых, съеденной черешней, каплями дождя, что шариками ртути катятся по тротуару, шагами в лужах, пылью на окне, забытым. Всем забытым. Всем. И бабушкиной чашкой, которой нет уже, и бабушкой, которой тоже нет... А хорошо бывает, только если Таня...»

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.